

Невыдуманная история

ВИТКА

ТОЛЬКО что окончился наш первый концерт. Я отсоединяю рампу, укладывая в чемодан театральные костюмы и вместе с ребятами выхожу на улицу. — Уф, ну и крематорий был! — вздыхает кто-то из наших.

— Переодеваюсь на следующий номер, а платье не снимается — прилипло...

Прохладный ночной воздух вливается в грудь без малейших усилий с твоей стороны. Начинаешь понимать слова «атмосферное давление».

Рядом со мной идет Витка, или Виктор Сенник, как он отрекомендовал себя в самом начале нашего знакомства. Ему, очевидно, очень понравился концерт.

— Как она его сумкой! — восхищается мальчишка и тихо смеется, закрывая рот ладошкой.

Витя — наш сосед по гостинице, вернее, по школьному интернату, куда нас поселили на время гастролей. Живет он один в большой, полупустой комнате, где, кроме койки, фанерного стола, бумажной ширмы и стенной газеты «С Новым годом», нет ничего.

В первый же день приезда, обживая большую, гулкую комнату, пахнущую сырой штукатуркой, мы попросили у него молоток. Он принес молоток, гвозди, помог развесить все наши театральные костюмы, наколот сухих щепок для уютного и разбросал по полу охапку поленьев.

Комната сразу приобрела жилой вид, и в ней надолго повис тягучий запах подневной степи.

Витя был на редкость немногословен, даже не помалчишески как-то, и, если его о чем-либо спрашивали, отвечал не сразу, тихим голосом, краснея от смущения.

Однажды я спросил, есть ли у него родители.

— Есть, — как-то нехотя ответил он.

...Нынешний концерт затянулся допоздна. Село спит. Только говор и смех зрителей, расходившихся по домам, долго висит в воздухе. Витка все никак не может успокоиться:

— Здорово она его сумкой! А у него синяк не вскочит?

— Значит, хорошо? — спрашиваю я его, хотя заранее знаю его ответ.

— Здорово! — И Витка начинает объяснять, что сегодня «было все по правде».

Я это чувствую сам. Потому что вместе с усталостью ощущаю спокойную радость. С удовольствием шлепаю ногами по пыльной, толстой, как ватное одеяло, дороге, где звук шагов гложет под подошвами. С удовольствием слушаю, как где-то в сарае возятся и гогочут сонные гуси, вдыхаю густой, настоявшийся запах укропа.

Мысли, круглые, теплые, не спеша, в такт ленивым шагам моим роятся в голове. Вспоминаю подробности концерта... Тишина зала... Потом — аплодисменты.

Щербатая мальчишечья улыбка. В такие минуты особенно остро чувствуешь, что твое искусство нужно людям, что ты являешься разносчиком радости, своеобразным почтальоном ее.

Придя в «гостиницу», я простился с Витей, задвинул чемодан с костюмами под койку, разобрал постель. Но спать не хотелось. В окно стучалась чья-то близкая песня. Девичьи голоса тихо и чисто пели об Ангаре. Так поют, когда нет посторонних. У противоположного крыла интерната белели платья наших соседей — девчат-штукатуров из Омска.

— Поздравляем, — сказали они. — Нам очень понравилось!

В темноте не видно их лиц,

только зубы блестят, будто намазанные фосфором. Они рассказывают о себе: учатся в техническом училище, а сюда приехали на несколько месяцев на практику — строить новую школу. Скучают по дому. Падающая звезда незажженной спичкой чиркнула по небу. У Большой Медведицы устало опустилась ручка ковша. Пора спать.

— Спокойной ночи, девчата.

— Вам тоже. Счастливых снов. На новом-то месте...

Проходя мимо Витиной комнаты, я наткнулся на тоненькую пластинку света под дверью. Тихонько заглянул в комнату. Витка стоял на коленях на деревянном табурете, упираясь локтями в крышку большого фанерного стола, перед ним лежала большая самодельная тетрадь. «Марки Сенника Виктора». Витка держал перед собой старый конверт и кончиком языка осторожно отдирает с него марку. Подышал на нее и не спеша вклеил в тетрадь. Потом надолго застыл над столом. Острые лопатки выпирали из-под рубашки.

— Что, старик, один ночью сидишь? — как можно веселее спросил я.

Ничуть не испугавшись, он повернул ко мне грустное лицо.

— Ничего. Я уже привычный...

Вдруг я почувствовал, как у меня в горле появился тугой комок, и, молча прикрыв дверь, пошел к себе...

Сон не шел. Было как-то не по себе. Я лежал, смотрел в темное окно и думал:

«Вот я ходил, раздуваясь от гордости: я, несущий искусство, нужен народу. А рядом со мной шел вот он, Витка. И, может быть, все мое искусство хватило ему только на ту короткую дорогу от клуба до интерната, пока он смеялся и повторял: «Как она его сумкой!»»

НА СЛЕДУЮЩЕЕ утро, умывшись, я первым делом зашел к Витке, и мы вместе пошли в магазин. Была моя очередь закупать для ребят продукты и сигареты. Очень вежливый продавец налил нам по кружке холодного молока прямо из цинкового бака с круглой откидной крышкой. В магазине было прохладно и вкусно пахло теплым хлебным мякишем.

Медленно попивая молоко, я подошел к табачному отделу и стал выбирать сигареты.

— Купите вот эти, — Витя указал на цветастые пачки гавайских сигар. — В них по три штуки. Черные, длинные.

— Откуда ты знаешь?

— А когда кавалеры приходили к маме, то курили такие.

Я поперхнулся. Вежливый продавец, увидя мою недопитуемую кружку с молоком, забеспокоился:

— Может, чего попало? Но это исключено — марлевый заслон. Пейте, гражданин, молоко у нас хорошее...

Я расплатился и вышел. Он повернул влево, и я пошел за ним.

Витя шел быстрее, чем обычно, маленький, бледный, с прозрачной синевой под глазами. Здесь, у окраины села, степь сухо желтела, вытоптанная скотиной и расчерченная темными полосами дорог. Дальше, до самого го-

ризонта, насколько хватало глаз, колобродило пшеничное море.

Горячий ветер упруго пригибал зеленые колосья, и тогда казалось, что по всему полю бегут проворные тени невидимых облаков. В полувостере от села старческой проплешиной в зеленых кудрях пшеничного поля был виден курган. Он был невысокий, и на плоской макушке его стояла каменная баба, рябая от старости. Древний скульптор, может быть, соплеменник Чингиз-хана, бережно сложил ей руки на животе, прикрыл тяжелые веки.

Мы легли на спину. Камень отбрасывал коротенькую тень, достаточную, чтобы сушить в нее наши головы. Витя стал рассказывать о своих товарищах, о школе, о том, как он стерег лошадей и отгонял волка, об охоте на степных лис-корсаков, которых он называл «крысаками».

— Они хи-и-трые, — говорил он, растягивая слово. — Злые... Один дядька стал откапывать их нору, а они как выпрыгнули и на него... за шею. Только косточки остались.

Здесь, на кургане, он, видимо, мог говорить долго и о чем угодно. Так степной наездник-пастух поет о первом, что попадется ему на глаза.

Было душно. Трещали кузнечики в сухой траве. Это непривычное стрекотание сливалось в негромкую жестяную мелодию. А если закрыть глаза и прижаться щекой к земле, то можно услышать, как поет степь. Ты теряешь ощущение весомости и нежнись в ее дрожащих, переливающихся, как полуденное марево, звуках.

И вдруг он сказал:

— Видите вон те посадки? За ними мой совхоз. Я родился там... Там и жил. И все, что я рассказывал вам, это все в этом совхозе было.

Я все время сестренку нянчил. Их трое, и все моложе меня. Только одну отнячу, сама ходить начинает — тут тебе другая на очереди появляется. Отец с нами жил плохо. Часто не приходил домой, а matka пила...

Он рассказывает медленно, обстоятельно. В позапрошлом году его мать посадили — проворовалась. Ребят взяли в детдом. Так здорово было там! Но через год мать вернулась и забрала их домой.

Теперь она пила еще больше.

При встречах взрослые жалели его вслух: «Вишь, до чего ребенка довела: ни жив, ни мертв. Небось, не кормит? Пойдем, с моим Петькой поешь...».

Но взрослые — это полбеды. Вот мальчишки! Тринадцать лет — самый злой возраст. В тринадцать лет, не задумываясь, бьют туда, где больнее всего. Любый спор, любую ссору с Виткой мальчишки заканчивали словами: «А твоя мать...» и добавляли такое, от чего темнело в глазах и болели суставы сжатых пальцев.

Тогда он дрался. И эти минуты были самыми счастливыми: в пылу драки он верил, что мать его не такая, как о ней говорят, что она хорошая, что она, как у всех ребят.

Однажды он убежал. Ночевал здесь, на кургане. В маленькой ложбинке возле ка-

менной бабы. Она молча выслушивала его горькие мысли и грустно улыбалась большими татарскими губами. Он засыпал, судорожно выдохнув напоследок все дневные тревоги. Нагретая за день земля отдавала ему свое тепло, где-то гукала сова, и проснувшиеся запахи ночной степи свалили прозрачные сны на макушке кургана.

Утром его покормили трактористы. А среди дня Витку неожиданно разыскала мать.

— Пойдем домой. — пошатываясь, она взяла его за руку. — Иди, иди. Ведь пропадешь без меня, как капустный червяк...

Он вырвал руку.

— Не пойду! Никогда больше не пойду!

Несколько дней бродил где придется. Потом встретил директора интерната. Тот взял его к себе. Теперь вот устроил в речное училище. Он может спокойно ехать — народный суд лишил мать всех ее материнских прав.

...Долго после этого расказа мы лежим молча. Мне нечем дышать. Я набираю полную грудь воздуха, а он куда-то уходит, я вновь набираю, а он опять уходит...

Витя лежит рядом и спокойно глядит в степь, туда, где темнеет березовая роща.

— Что ты будешь делать после окончания училища? — спрашиваю я его.

— По Иртышу плавать.

— А когда уезжать надо?

— Директор сказал, дня через четыре...

— Ты бывал на Иртыше?

— Ага. Он тут недалеко протекает, километров сто будет. А вы знаете, как Иртыш порусски будет?

— Нет...

— Землерой. Он то по одному месту течет, то по другому. То сопку завалит, то луг затопит. А Иртыш — это по-татарски. — Он кивнул на каменную бабу. Она стояла, накренившись в нашу сторону, словно слушала.

ТАК и повелось. В свободное время (обычно это бывало в первой половине дня) мы с Виткой уходили в степь. Иногда это бывало ранним утром, когда только что взошедшее солнце было чистым и ласковым, как стариковский взгляд. Волгла от росы тропинка путалась в пшенице. Тяжелые влажные колосья лениво тыкались в грудь. Над курганом колыхался легкий парок, и весь он был похож на свежеспеченный ржаной каравай. А спина каменной бабы была мокрая, как после дождя.

Мы брали Витку с собой и во все концертные поездки по району. Поручали следить за правой половиной занавеса. Надо было видеть, с какой гордостью он делает это! Слово держал не крашеное полотно, а по меньшей мере тяжелый малиновый бархат. С нами он и питался в районной чайной, где всегда подавали одно и то же мясное блюдо — гуляш...

Незаметно наступил день нашего отъезда. Рано утром я ушел на курган.

Вернулся, когда наши уже садились в автобус. Все закричали:

— Где ты пропадал? Нелзя же так! Вещи твои занесли. Иди проверь, не забыли ли чего. В темпе, в темпе!

Около автобуса стояли омские девчата в синих комбинезонах, рябых от засохших пятен раствора.

— А где Витка?

— Да, в самом деле, где же он? Мы думали, он с тобой ушел...

И вдруг что-то мелькнуло над нашими головами.

Змей, большой белый, еще накануне днем сделанный из той старой стенной газеты «С Новым годом», взвился высоко-высоко и, словно зацепившись за светлое перистое облако, повис в воздухе. На плоской красной крыше интерната, широко расставив ноги, стоял Витка.

— Витка! — закричали мы. — Слезай! Попрощаемся!

Он переложил клубок бечевы из правой ладони в левую и, улыбаясь своей щербатой улыбкой, степенно помахал нам рукой в белом, трепещущем рукаве.

Ветер подхватывает, пузырем раздувает его рубашку, и высокая, крепкая мальчишеская фигурка становится вся, как воплощение сопротивления этой неразумной, невидимой стихии...

Нет, ему нечего бояться жизни. И дело не только в том, что этот в сущности бездомный мальчишка будет иметь крышу над головой, что он сыт, обут, одет. А в том, что везде, куда бы он ни забрел, ему встретится множество друзей, которые будут заботиться о нем и отогревать его от одиночества.

— Пиши-и-и! — кричим мы ему хором. — Обязатель-но пиши!

Закинув лицо, он смеется, потом кивает выгоревшей на солнце белообрый головой.

— Напишет или не напишет? — вслух спрашиваю я, чувствуя, что мне его письмо будет, пожалуй, куда нужнее, чем ему мое.

...Автобус, переваливаясь по-утиному, выбрался на дорогу. Встречный ветер громыхнул в открытые окна. На встречу побежали дома, зеленый часток посадок.

Я смотрел в окно и думал, что если актера интересуют только аплодисменты и если он не умеет замечать, что зритель — человек, что у него свои радости и печали, он даже, пожалуй, уже и не актер.

Мы едем в степи. Голубая каемка очерчивает горизонт. Дрожащий нагретый воздух прикрывает село, словно бракованное стекло. Справа от села видна маленькая припущность. Это тот курган, на котором стоит каменная баба. Древний скульптор, какой-то очень человечный человек бережно сложил руки этой каменной женщины, прикрыл тяжелые веки, заставил застыть в углах больших — через все лицо — татарских губ вечную скорбь матери. Она безобразна и прекрасна. И несмотря на то, что прошло уже столько веков, люди до сих пор приходят к ней, чтобы спрятать в ее коротенькую тень свои головы.

Н. ПЕНЬКОВ,
студент школы-студии МХАТа.